

ВЯЧЕСЛАВ ПРАХ

ДЬЯВОЛ
ВО МНЕ

Новый невероятный роман от автора
бестселлеров «Кофейня» и «Женщины созданы, чтобы их...»

Вячеслав Прах

ДЬЯВОЛ ВО МНЕ

Серия «Дьявол во мне», книга 1

Текст предоставлен издательством

<https://litres.ru/57190381>

Дьявол во мне: АСТ; Москва; 2020

ISBN 978-5-17-117895-6

Аннотация

<p>Домиан молод, но измучен своими страхами, и однажды, не выдержав, он бросается под поезд. Оказавшийся рядом незнакомец спасает ему жизнь и даже предлагает поселиться в его доме. Представляется он полицейским, говорит, что расследует жестокое убийство, произошедшее в стенах одной из церквей города. Правда ли это и кто на самом деле стоит за страшными преступлениями? Домиан решает раскрыть таинственное дело.</p> <p>Эта жесткая, мрачная книга – клубок лжи, распутать который берется тот, кто сам лжет. Как далеко может зайти монстр? Особенно если этот монстр живет в тебе.</p> <p>Неприглядная реальность, атмосфера мистики и неожиданная развязка. Новый детектив Вячеслава Праха отличается от всех его предыдущих романов!</p>

Содержание

Глава первая

6

Конец ознакомительного фрагмента.

24

Вячеслав Прах

Дьявол во мне

© В. Прах, 2019

© ООО «Издательство АСТ», 2020

* * *

Посвящаю своей любимой дочурке...

Не хотелось бы мне, конечно, чтобы ты однажды прочла эту книгу. Она мужская, местами слишком жестокая и даже грязная. И за нее многие будут меня критиковать и топтать своими чистыми и благородными ногами. Но это такое... бессмысленное... Главное, чтобы меня не топтала ты. Наверное, правильнее было бы посвятить тебе какую-нибудь женскую, сентиментальную книгу, но у меня нет подходящего для такой книги настроения. Как замечательно, что я могу сейчас обратиться из прошлого в твое будущее этими строками, в этом есть какое-то волшебство. Здорово, конечно, быть писателем...

Никогда не грусти, мое сокровище, я тебя люблю. Я начал писать эти строки, когда тебе было всего семь с половиной месяцев. Когда ты весила семь килограмм и триста грамм. Кто знает, может быть, к тому времени, когда ты возъ-

мешь эту книгу в руки, я стану известным писателем, в моем понимании известным. А может быть, и нет! На самом деле, это как игра в русскую рулетку. Может не выстрелить графоманство, а может выстрелить талант. Самому бы разобраться, что я есть такое.

Моей любимой и вечно счастливой малышке Еве...

Прочитай мое посвящение и закрой эту книгу. Она тебя не касается, посвящаются тебе лишь мои бессонные ночи, когда ты спала. Мой труд.

Спасибо.

Глава первая

Пора бы мне броситься под поезд...

Меня зовут Домиан. Как Дориан, только Домиан. Мой рост сто семьдесят один сантиметр, хотя последние несколько лет я всем своим знакомым (а таких у меня – и трех пальцев счесть будет много) вру, что мой рост целых сто семьдесят четыре, а иногда даже сто семьдесят шесть сантиметров. Несколько сантиметров придают мне уверенности в себе, как несколько тысяч долларов в кармане у «нищесбродского», но никоим образом не делают меня выше. Не хотел своим выражением никак обидеть известного поэта, ну понятно, о ком идет речь. Нынче все образованные, даже слишком, но разговор не об этом... В последнее время я очень много вру. Нет, не так! «Мне приходится врать» – это мое самое любимое оправдание.

Да, кстати, комплекс «коротышки» у меня начался с тех пор, как один мой школьный товарищ Онух... Даже не совсем товарищ, а так, одноклассник, балбес, дамский оболъститель, если последнюю фразу взять в кавычки... да, черт с ним, с доходягой, пусть будет – просто знакомый, у которого вдруг в пятнадцать лет разыгрались гормоны, сны взорвались поллюцией, а его голодный взгляд прилип к попам одноклассниц. Да, совершенно типичный малый до самых костей типичности, если не учитывать тот факт, что целых

два года он вливал в уши всем окружающим – естественно, против их воли, – а в частности, и мне, что он маленький, не удаленный, неполноценный и никому не нужный шпрот. Коротыга!

Так, это я уже совсем разошелся, сейчас попробую вещать более литературным языком, я ведь книжный червь. Отец меня никогда не баловал, а вместо этого давал читать книги. Книгами не согреешь, зато научишься красиво посылать людей в узду. Насчет отца это правда... И снова я пустился в пустое балаболство, но уверяю, моя жизнь – штука серьезная. Просто я себя настолько презираю и ненавижу, что стараюсь над некоторыми вещами смеяться, лишь бы над ними же не заплакать.

В общем, одноклассник этот, кот-бегемот на люстре, только без примуса и без возможности стрелять в своих обидчиков из пистолета, все ныл и ныл, что ниже его только пятиклассники, и то еще надо поискать таких. А мы на тот момент уже заканчивали девятый класс. И вправду, пятиклассники могли спокойно принять его за своего (только немного старого и с усиками «своего») и даже вызвать за школу и надавать лещей за какой-то косо́й взгляд в их сторону. Дети жестоки, вспомните «Повелителя мух». И вот в какой-то момент сто шестьдесят три сантиметра роста моего одноклассника стали причиной всех его бед. В частности, жидких усов и вони изо рта. Ну и, понятное дело, что тем девушкам, которые нравились ему, не нравился он. И настолько категорич-

но он их не устраивал, что на роль того, с кем однажды при свечах они хотели бы лишиться девственности, больше бы подошел, ну скажем, макаронный монстр. Девушки рассматривали Онуха исключительно в качестве маленького плюшевого медведя, которого можно потрогать, потискать за щеки, нос, уши, которому можно рассказать о своих проблемах с парнями, если у них не клеилось (при этом ему ни на какой «клей» не намекали). Они могли поделиться с ним своими девичьими секретиками, месячными-маразмесечными... короче говоря, мои одноклассницы не воспринимали его как мужчину.

«Во всем виноваты мои сто шестьдесят три сантиметра», – изо дня в день повторял себе он, а я это волей-неволей слушал. Его проблемы, его нытье меня совсем не касались в тот момент, как я думал. Но спустя какое-то время, когда я уже окончил школу и наши встречи с Онухом стали настолько редкими, что дважды столкнувшись в метро, мы оба раза сделали вид, что не узнали друг друга, я начал задаваться вопросом... Вот у него сто шестьдесят три сантиметра – в обуви на высокой подошве – и подбородок, постоянно тянущийся вверх (Онух так делал, чтобы казаться повыше и поувереннее). А вот мой сто семьдесят один... Разница в восемь сантиметров – это же ничто. Семь из десяти мужчин, проходящих мимо меня, на голову выше. В мире высоких Онух – карлик. Значит, все дело в росте. Исключительно в росте!

Вот почему в двадцать лет у меня не было ни девушки, с которой я мог бы поделиться своими микробами, ни друга, у которого можно было бы переночевать, и вместе с кем вызвать девиц самой древней профессии. Никого, кто был бы рад меня видеть и мог выслушать. Родители меня особо не замечали. Только когда я уже совсем начинал путаться под ногами. Или в тот период, когда писался в кровать через день на третий, как по расписанию. Начались эти мокрые преступления, мокрухи, в двенадцать лет и длились до пятнадцати. Но ведь родители замечали вонь моей мочи, а не меня. И не радовало даже то, что они не отчитывали меня и не внушали чувство стыда.

Да, точно, как я был слеп! Вот, например, девушки любят высоких, ни одна женщина не обернется на мой сто семьдесят один сантиметр, в поле их зрения попадают только мужчины от ста восьмидесяти двух. И плевать, что у меня член двадцать сантиметров в длину и двенадцать в окружности. Ладно, тут я немного загнул, но, в целом, какое все это имеет значение, если, кроме меня, его никто не видел?

В общем, в двадцать лет меня как молотком по голове шарахнуло, я четко осознал: все, что происходит в моей жизни и чего не происходит – это из-за ста семидесяти одного сантиметра. Ко мне пришло просветление, ярчайшее озарение, как приходит оно к некоторым после книг Ошо, а к более умным – после Айн Рэнд. Не хочу никого обидеть, но «пусть ребенок воспитывает себя сам» – такая мораль не по мне. Вот

воспитываю себя сам уже много-много лет, и моя самооценка наконец нащупала отсутствие сантиметров. Несомненно, если бы я был выше, моя жизнь окрасилась бы в другие цвета. Я даже нашел статью в газете, мол, ученые выяснили, что мужчины ростом до ста семидесяти пяти сантиметров менее успешны во всех сферах жизни, чем те, кто повыше. С тех пор я поставил на себе крест. Конечно, в могильную яму еще пока не ложился и не засыпал в кладбищенской тиши под депрессивные стоны, но в двадцать лет я четко ощутил, что моя жизненная энергия угасает с каждым днем. Что я умираю внутри. Что я перегниваю, воняю, что я не из надежного камня, а из хлипкого картона самокритики и остроумия.

Бывало ли, интересно, еще у кого-нибудь такое поганое чувство, будто внутри завелся прожорливый червь, который пожирает все силы? Конечно, ведя откровенный диалог с самим собой, можно смело сказать, что всему виной был регулярный онанизм, ежедневная бессонница и тяжелые сигареты, от которых я регулярно падал в обморок, особенно по утрам, когда курил натошак.

Собственно, дело поутру обстояло примерно так. Открыл глаза. Поднял тело. Взял на столе зажигалку и сигарету. Накинул одежду, вышел на балкон. Закурил. Сделал шесть затяжек. Голова закружилась. Ком тошноты подступил к горлу. Смял в пепельнице сигарету. Зашел обратно в квартиру. Упал у окна. Очнулся. Открыл глаза. Закрыл дверь на балкон. Выпил воды, потому что в горле всегда пересыхает от

сигарет. Умылся. Почистил зубы. Закурил снова. Позавтракал в обед.

Как-то так примерно.

Я умирал. Не физически, а внутри себя. И умирал порой так сильно, что в свой двадцать первый день рождения я бросился под поезд...

Почему же я умирал? А как было не умирать, если отец не любил мать, был абсолютно равнодушен ко мне и всячески демонстрировал всем вокруг свое полное безразличие и превосходство. Да лучше бы он меня бил иногда, как все нормальные отцы и учил чему-то. Как же не умирать, если в моей жизни не имелось ни одного человека, которому можно было тихо сказать: «Послушай, обними меня. А то мне что-то плохо». Мой отец, наверное, обнял бы меня лишь тогда, когда потребовалось бы дотащить меня из ванной комнаты до кровати, одеть, а затем донести до гроба. Невесомого меня он бы, наверное, обнял. И обнимал ведь когда-то. Когда я весил совсем немного. Что же стало потом?

Как было не умирать, если, сколько себя помнил, я играл на пианино, а мать в последнее время только и говорила мне, чтобы я нашел работу. Кстати, из-за этого инструмента, единственного моего верного друга на протяжении всей жизни, я чуть не умер. Это было давно, целых девять лет тому назад. И с тех пор я перестал видеть нормальные детские сны... Отец вообще не замечал и не слышал меня годами. Мать не понимала моей музыки. Хотя когда-то сама же ме-

ня и отправила обучаться. Она думала, что однажды я стану великим пианистом, как, к примеру, Жан-Луи Адан. Но она, видимо, поглупела – время от времени отец бил ее по голове, и с тех пор ее голова перестала быть ясной. Она не понимала, что музыка – это единственное, что у меня есть, профессия всей жизни. Даже матери у меня нет... И согласно ее новым убеждениям, я должен был стать юристом, экономистом, или кем-то еще. Но никак не собой. Музыка – это роскошь великих, а не удел бедных. Она же думала в последнее время наоборот. Что же могло затуманить ее голову таким маразмом?

Как не умирать, скажите мне, слушатели голоса в моей голове, если единственным человеком, который восхищался моей музыкой, был мой глухонемой дядя Дотто, и то когда выпьет? Личность, кстати, примечательная: нищий художник, алкоголик, он приходил в наш дом только для того, чтобы поесть и попросить у отца денег. А трудился частенько на улице. С ладонью, протянутой к тем, кто зарабатывает отнюдь не искусством.

Как не умирать, если окружающие меня люди умерли? Если ни с кем нельзя поделиться самой главной тайной моей жизни, которая грызет меня изнутри, просится вылезти наружу. Наверное, поэтому я курил по две пачки сигарет в день. Заблевывал иногда постель, мочился в пустую бутылку, чтобы лишний раз не идти через кухню в туалет и не видеть на своем пути никого из умерших. Возможно, поэтому я бросился под поезд, когда мне исполнился двадцать один

год. А, возможно, потому, что во мне был всего сто семьдесят один сантиметр роста.

Я принимал свое убожество изо дня в день. Но порой я принимал в себе и ту скрытую от чужих глаз прелесть, ту иную грань себя, которая делает обыкновенный зеленый стебель растения ароматным цветком. Подобное я ощущал, лишь когда садился за пианино и играл. Моцарта, Листа, интерпретации Корто.

Когда я играл чужую музыку, то забывал о том, что я конечный онанист, холодная льдина, ждущая когда ее обнимет другая холодная льдина, не умеющая ни переживать, ни сочувствовать. Сто семьдесят один сантиметр нерешительности и пустого места, двадцатилетний девственник с огромным членом (который иногда даже мешает).

Только музыка и сон – если не снились кошмары – позволяли мне забываться и не видеть окружающий мир таким, каков он есть на самом деле, не чувствовать, как гниют изо дня в день мои внутренности, именуемые человеческой душой. Сутью! Мое нутро в молодые годы было гораздо дермовей и циничнее, чем люди о нем думали. Мое лицо было немного красивее, чем нутро. Но люди не глупые, людям мало одной красоты, в частности женщинам; интерес любой женщины ко мне угасал после пары-тройки фраз, после вида моих трясущихся рук и неуверенного робкого взгляда в их сторону. Нерешительностью от меня воняло так же, как от старого богатого пердуна воняет смертью (особенно для ка-

кой-нибудь молодой хорошенькой девицы, желающей жить красиво и лишь во имя себя).

Никто не замечал той скрытой красоты во мне. Ее замечало только мое пианино, когда я на нем играл. По крайней мере мне бы так хотелось думать.

* * *

Естественно, я не сразу решил броситься под первый попавшийся поезд на той станции метро, которая находилась ближе всего к моему дому, хотя данное действие, а вернее сопутствующие ему телодвижения, я обдумывал не один десяток раз, стоя на перроне и глядя издалека на приближающийся ко мне состав.

Говорят, что только трусы могут покончить жизнь самоубийством, но в тот момент я ясно и недвусмысленно ощущал, что бросить свое живое тело под железную бездушную машину, которая пропустит его через себя, как через мясорубку – на такое решится далеко не каждый. На это нужен дух! Особенно, если страшно умирать, но еще страшнее просыпаться изо дня в день сурка. Многие из тех, кто соберется это сделать, оступятся в самый последний момент, когда смерть только нежно всколыхнет волосы, когда жажда жизни застынет в глазах и на какое-то мгновение полностью овладеет каждым суставом тела. Каждым волоском.

Большинство потенциальных самоубийц никогда не ре-

шатся на этот шаг, как, например, не решатся прыгнуть с парашютом с высоты в тысячу метров над землей, когда уже нет пути назад, а вниз смотреть страшно до мозга костей. Или – спуститься вниз на тросе с некоей вершины, горы, или попробовать перебраться через стремительную ледяную реку. Или – взять ситуацию в свои руки и полностью, безвозвратно изменить свою жизнь.

И я, честно сказать, был трусом и долго не мог пойти на это. Едва завидев голову поезда, выглядывающую из темного, покрытого мраком тоннеля, я тут же принимался трястись от ужаса, как смертник на электрическом стуле. В желудке начинали бродить перегнивающие остатки вчерашней пищи, иногда даже выходили зловонные газы. И глядя в глаза своей смерти, я никак не мог решиться на то, чтобы сделать шаг вперед, в неизвестность. Я пропускал поезд за поездом, я пропустил сотню поездов. Я просто садился в вагон и ехал куда-нибудь. Лишь бы ехать и не возвращаться домой. Иногда – в конец города, чтобы послушать в наушниках музыку; свою музыку я почему-то слушать не мог, только чужую. Ехал, чтобы посмотреть в окно на серую широкую реку, чтобы доехать до конечной станции. А после вернуться домой.

Почему я не мог слушать свою музыку? Она мне была неприятна. Как только в наушниках начинала играть моя мелодия, меня каждый раз словно ударяло током. Будто у меня над ухом разламывали на части пенопласт (боже, этот звук

я терпеть не мог больше, чем свою музыку) или водили вилкой по тарелке, издавая этот дьявольский скрежет, заставляя каждую клетку тела судорожно страдать. Моя музыка казалась мне каким-то дилетантским убожеством, полным изъянов и самого меня, она не была профессиональной. И порой я сам не мог понять, что именно я ненавижу в своей музыке больше – ее несовершенство или самого себя.

В конечном итоге, мне потребовалось больше полугода, чтобы наконец решиться стать фаршем, размазанным по рельсам. И, честно сказать, эти полгода ушли не на воспитание в себе боевого духа, силы воли и бесстрашия перед неизвестностью, а на ожидание. Я ждал хотя бы одного человека, которому я был бы по-настоящему нужен. Человека, рядом с которым я бы никогда не сделал этот шаг.

Одиночество – как паралич тела, в том случае, если человек не принимает себя и не может мирно существовать со своим отражением под одной крышей. Как-то так.

Мне по большей части хотелось отправиться к Гитлеру не потому, что осточертела жизнь и окружающие меня люди (хотя этим всем я давно был сыт по горло), а больше, наверное, потому, что рядом никого не было. Тварь по имени одиночество меня не страшила – когда о ней говорили другие люди, называя ее проклятием, – а даже иногда прибавляла картонной гордости за себя, ведь в одиночку выживают только сильнейшие! Такой старый, как мир стереотип укоренился в мозгу человечества, и каждый пытается оправдать свое

убожество и неумение быть кому-то интересным – силой. Но поздними ночами, когда переставал говорить мир, переставали сигналить автомобили, выключались телевизоры и магнитофоны, пропадал свет из окон соседнего дома, замолкало мое пианино, мне вдруг становилось по-настоящему страшно. Страшно за себя, за свою жизнь, за свое будущее.

Одиночество душило меня, ибо я позволял ему себя душить.

Меня начинали раздирать на куски страшные и, что самое неприятное, навязчивые мысли. Кто я? Зачем я нужен миру? Зачем мир нужен мне? Почему у женщины между ног пахнет розами, а у мужчины тухлой сельдью? Почему меня не хотят красивые женщины, и что находят во мне экземпляры, обделенные красотой?

Меня терзало много разных вопросов. Каждую ночь. Оттого бессонница глубоко и решительно обосновалась в моем сознании, подчинила полностью мое тело. Почему, когда я пишу музыку, в процессе работы она кажется мне прекрасной, изумительной, волшебной? Пока я ее не закончил, пока создаю. Но едва я ее напишу, выпущу довольно клуб дыма, а затем сыграю еще раз, она начинает звучать совсем по-другому. Будто некий жестокий мучитель берет в руки нож, сначала разрезает пенопласт и делает это как можно дольше, а затем разламывает его на маленькие кусочки. И так из раза в раз – он делает это вечно. Музыка становится уродливой, как только она становится моей. Как только я беру на

себя ответственность за то, что создал.

Это чертовски неприятное чувство, и я искренне уповаю на то, что ад – такой, каким он описан в Библии, и в нем не будет той пытки, где меня посадят за инструмент посреди людного зала и тысячи зрителей будут смотреть, как я играю свою мелодию. Я очень надеюсь, что ад – общий, а не как у Данте, и я не провалюсь от стыда прямо на стуле в другой такой же зал подо мной, не окажусь рядом с таким же пианино, а из ушей слушателей не потечет кровь...

Много чего не давало мне уснуть. Сейчас (когда я уже наконец выговорился тому самому человеку, тому животному, из-за которого чуть позже пересмотрел в жизни все, и снял с плеч ответственность за небо, взглянув на свое бытие с высоты птичьего полета) я могу смело заявить, что сигареты, кофе и голод хуже твари-одиночества. Но тогда я об этом, конечно, не знал. С пятнадцати лет я перестал прятаться с сигаретой от родителей – едва понял, что им на это плевать. И в тот момент, когда я хотел своим самоубийством сказать окружающему миру: «Я был. Вспомните обо мне», я не знал, что нужно ценить свое тело, свое здоровье, свой ум, а точнее трезвость ума. Я вообще много чего не знал, хоть и прочел не один десяток отцовских книг. Пошел по стопам отца – брать из книг только изящность языка, но не смысл.

В день, когда я в конце концов решился прыгнуть в объятия смерти, превратиться в безмозглую, бездушную лужу, растекшуюся по железным рельсам, я не стал каким-то дру-

гим – сильным и мужественным. Я просто закрыл глаза и ждал, я дрожал от страха и думал, что в момент столкновения с электричкой у меня точно будут мокрые штаны. Едва поезд показался из тоннеля, я зажмурился изо всех сил. И так же изо всех сил сжал зубы. Ощущая всем телом вибрацию, поток несущегося ко мне воздуха от приближающегося головного вагона, я сделал широкий шаг вперед, ожидая, когда пустота под ногами станет твердой. И, да, в последние секунды моей прежней никчемной жизни страх пропитал мои джинсы насквозь...

– Жить надоело, ублюдок?

Это первое, что я услышал после того, как ощутил себя на холодном бетоне. От меня пахло страхом, непониманием происходящего, но сильнее и громче всего от меня воняло... жизнью. Именно. В тот момент, когда ледяной ветерок, стелившийся по полу, продувал мою спину, мне хотелось жить. А точнее – выпить стакан коньяка или даже чего-то покрепче, выкурить сигарету. Но лучше всего две сигареты! Самые вкусные и желанные сигареты в жизни. Хотелось вдохнуть ночной загазованный воздух у себя на балконе и в какой-то неведомой мне наркотической радости погрузиться в свое обыденное и прекрасное дерьмо. Да, мое дерьмо стало прекраснее, и я это почуял всем своим встряхнувшимся нутром.

Что-то во мне поменялось.

Над моим телом сгрудилась толпа незнакомых людей, зе-

вак, собравшихся взглянуть на благородный поступок. Я не знал никого из них, но в то же время помнил, что секундой ранее они окружали меня, когда я еще стоял за желтой полосой, разделяющей меня и поезд. Они собрались посмотреть на поступок. Геройство. Не каждый день людям доводится видеть спасение человека.

Что случилось в последний момент? Понять это – единственное, что было сильнее желания, покурить, выпить и окунуться в жизнь по полной.

– Тебе что жить надоело? – кричал мне в лицо, по всей видимости, мой спаситель, крепко вцепившись в мою куртку. Ну и хватка. Железная! Так, наверное, отец сжимает в своей руке горло ублюдка, который обидел его дочь. Нет, он что, всерьез думает, что я сейчас перекачусь боком, сбивая с ног стоящих вокруг меня людей, чтобы упасть на колени между рельсами и дожидаться другого поезда? Ну уж нет! Ни за что!

А хотя, что ему было думать?

– Тебе есть куда идти? – спросил мой спаситель.

Пожалуй, это единственный в данной ситуации вопрос, на который я готов был дать вразумительный ответ.

– Нет.

– Тогда вставай. – Он встал сам и подал мне руку, я ухватился за нее и поднялся на ноги.

– Чего уставились все? Цирк уродов уехал, расходимся, – спокойно сказал он и начал проталкиваться со мной через толпу, смотревшую на нас с недовольством и осуждением.

Да мне было плевать, честно. Я не стыдился ни своих мокрых штанов, ни своего поступка.

Мы сели в вагон.

Мужчина, нет, пожалуй, все же парень, немногим старше меня, но с чертами взрослого, смотрел холодным пристальным взглядом. И ждал ответа.

Надоело ли мне жить? Увы, теперь нет. Дико хочу курить, дышать свежим воздухом, уйти во все тяжкие и наслаждаться каждым глотком этой убогой прелестной жизни. Но я ничего не сказал, лишь ответно заглянул ему в глаза, они были черными, под стать тому мрачному тоннелю, из которого выехал поезд.

Я не стыдился того, что от меня несло, как от вонючего безымянного бомжа из перехода, и, честно сказать, готов был спокойно в таком виде ехать домой через весь город. Куда, интересно, в тот момент у меня делось чувство неловкости?

– Ты немой, что ли? – Он не дал мне и минуты сладкого желанного покоя. Даже в вагоне метро.

* * *

Его звали Марк.

Мой спаситель, который в последний момент схватил меня за плечо.

Крепкий и статный офицер полиции, молодой убежден-

ный послушник закона, истинный консерватор, с опаской относившийся ко всему новому, в том числе и ко мне.

– Кофе будешь?

– Черный?

– Нет, красный, – довольно злобно сказал Марк, разливая из чайника кипяченую воду по двум чашкам с растворимым кофе.

– Буду. Закурить можно?

– Кури. От рака легких умирать, должно быть, приятнее. Можешь подождать меня в гостиной.

И он принес мне из кухни пепельницу и чашку кофе.

Я сидел у него в светлой просторной гостиной с одним окном, здесь же стояли письменный стол и диван. Обои были бежевого цвета. И предостаточно свободного пространства.

Я поблагодарил его и сделал первую желанную затяжку в своей новой жизни. Я курил... но не наслаждался курением. Затем глотнул горячего, обжигающего губы и горло дешевого и совершенно невкусного кофе.

– Тебе комфортно?

Он снова уставился на меня своим холодным и бездонным взглядом. Интересно глубокий ли он человек, анализирует ли он сейчас меня? Или просто очередной идиот с пустыми глазами, который смотрит на тебя так умно и многозначительно, но при этом не видит ничего? Поглядим.

Кстати, я не понял его вопроса, ответил на всякий случай:

– Еще бы.

Горький плохой кофе был для меня сладким – ничто не могло испортить этот чудесный, полный внутренней радости день.

– Тебе комфортно сидеть в своей вонючей моче на моем диване?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.